



Юрий Олеша

Я смотрю в прошлое
сборник рассказов

ФТМ



Юрий Олеша

Я смотрю в прошлое

«ФТМ»

Олеша Ю. К.

Я смотрю в прошлое / Ю. К. Олеша — «ФТМ»,

Юрий Олеша обладал поразительным умением видеть в обычных вещах необъяснимое, каждый раз по-новому восхищаться красотой мира. Благодаря блестящим метафорам, привычная действительность в произведениях писателя открывается с неожиданной стороны. В сборник «Я смотрю в прошлое» вошли рассказы разных лет.

© Олеша Ю. К.

© ФТМ

Содержание

Ангел	5
Легенда	9
Я смотрю в прошлое	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Юрий Олеша

Я смотрю в прошлое

Сборник рассказов

Ангел

Город с праздничным именем, на каналах, в камышах, над кривыми балками, остается позади, и поезд уходит к северу, к лиманам, высыхающим в степь с красноватой, йодистой травой, от которой пахнет вареными раками.

Огромный, перегруженный поезд идет очень медленно, хрустит, буксует автомобильным шипением – к подъему против холодного, мелкого дождя.

Я сижу в вагоне третьего класса на солдатской спине, в изъеденной шинели, припертый, задавленный чудовищной бабой-мешочницей. Мне трудно двинуться, шевельнуть рукой, расправить плечо, а это тем невыносимее, что меня кусают вши и все время нужно почесываться.

Баба легла на меня огромным задом и покачивается, всякий раз ухая по какой-то неизвестной причине. Она закутана платками, в кожухе, в мужских сапогах.

За этим задом скрыто от меня полмира. Направо от себя я вижу на пустом окне желтую тараканью рогожку, приколоченную к раме.

Ветер вздувает ее, и она скрипит, как воздушный шар. Напротив, под лавкой, на лавках и наверху выпирающие из сеток мешки. Мешков множество, самых различных по виду. Мешки каменные, тугие, мельничные, наваленные один на другой; мешки, как конские брюхи, как обрубленные туловища и свисающие с полок, грязные, мокрые, вислouxие, похожие на свиней.

В этих мешках – контрабандная соль. Всякий поезд, идущий с юга, наполнен ею. Она везде: в делегатских вагонах, в штабных, в санитарных – и больше всего в тендере машиниста под мокрыми дровами. Все занято солью. Мысли, разговоры, расчеты, тревоги, опасения, споры – все вокруг этой дрянной соли, похожей на тающий навозный уличный лед. Она тарактит в грязном угольном рядне, перекачивается камешками, хрустит под ногами, шлепается плашмя в мешках с вагонных крыш на насыпь, пока контрабандисты, опасаясь станционной пятерки, бегут с поезда и катятся под насыпь, а поезд, виляя задом, уходит с перебоями предвокзальных стрелок и разъездов.

Напротив на мешках лежит матрос в бушлате поверх бязевой рубахи с тесемками, завязанными на шее. На шапке у него выцветшая георгиевская лента с надписью «Воля». Еще выше над ним – пассажир, который все время спит, повернувшись спиной к окну. А слева – осада. Там в проходе, шатаясь, оседаая, раскачиваясь, стоят пассажиры. Они валятся в мою сторону, сотрясая бабу, задавившую меня. Я никого не вижу, не знаю, я смотрю, отупев, на вялую заячью шапку верхнего пассажира.

В вагоне комнатный сумрак. Иногда, когда ветер раздувает рогожку, по вагону перелезают и падают тени. Ровно и неразборчиво, с боков и над головой, звучат разговоры; потрескивает, как расщепленный ящик, вагон; ухает баба-мешочница.

Так мы едем уже вторые сутки.

Ехать нужно еще очень долго, ночь и следующий день и еще, может быть, ночь.

Ночь – длинная, тяжелая и мучительная. Ночью становится почему-то очень жарко, заедают вши, рядом храпят, машут руками, ударяя, сползая, налегая – в сонном бреду.

В конце концов я оказываюсь на полу. Перед рассветом я засыпаю. Колеса гремят под самой моей грудью по два удара – от стыка к стыку, и, когда я засыпаю, мне кажется, что это так громко, сильно и часто стучит мое сердце. Поезд стоит. В вагоне светло и холодно. Рогожки на

окне нет, и слезящимися, жаркими после сна глазами сквозь радугу я вижу в окне ясное небо. От этого неба во всем вагоне умытое, голубое сияние.

Придя в себя, я понимаю, что в вагоне, во всем поезде и снаружи произошло что-то необыкновенное.

– Что? Что? – спрашиваю я, ни к кому не обращаясь.

Все в куче; возле меня просторней. Какие-то незнакомые лица, вещи, тюки, позы. Матрос сидит на лавке, свесив ноги. Лицо у него каменное, серое, сразу ставшее осповатым. Он стучит зубами и сплевывает. Я замечаю, что вокруг говор, всхлипывания, суета, и вместе с тем все кажется застывшим, тихим и неподвижным. Никто не отвечает на мой вопрос, никто не говорит, но я знаю, в чем дело.

Бандиты.

Мы стоим в степи. Степь свежо пахнет мокрой, взрытой дождем землей. Бандиты оцепили поезд.

Матрос ругается матерными словами. У меня тоже стучат зубы. Я сдерживаюсь, но ничего не выходит; все тело начинает дрожать мелкой дрожью, и уже я не чувствую, что меня кусают вши.

«Документы, документы!» – проносится у меня в памяти; что-то нужно делать с документами.

Потом в конце вагона в проходе слышится чужой, посторонний шум, отдельные чьи-то страшные слова, стучат сапоги. В последующую минуту куча разваливается; проносится плачущее лицо татарина с разбитой кровавой губой, всплескивают чьи-то руки, и я вижу перед собой молодого парня с шашкой на ремне и в прихлопнутой фуражке.

– Галифе, вылазь!

Я лезу в карман за документами, достаю залежавшиеся квадратики бумаги. Они падают из рук, я нагибаюсь, чтобы поднять, ухмыляюсь и все время ощущаю какое-то странное уважение к бандиту.

– Покажь документ! – Парню весело.

Документы мои забирают; кто-то очень маленький, сухонький и воинственный, одетый со щегольством боевого артиллериста, ударяет меня по затылку, причем я тоже ухмыляюсь, и потом меня одного из всего вагона выводят наружу в степь и присоединяют к остальным снятым с поезда.

Мы стоим, восемь человек, по другую сторону насыпи, где начинается полукруглая посадка.

Нас охраняют трое, с наганами в руках, похаживают, молчат, взглядывают. Меня разбирает зависть к этим спокойным, деловитым, даже красивым людям. Пленники – интеллигенты, двое военных, один в роковом красном галифе. Я прошу у него папиросу, но у него нет, потому что забрали серебряный портсигар. Обход поезда кончается. Бандиты группами сходятся к нам. С разных сторон подъезжают всадники, несколько бричек, две тачанки.

– Понес!

По этой команде мыдвигаемся.

– Куда? – спрашивает меня военный в галифе.

Конечно, я не знаю. Мы идем по степи. Всадники окружают весь кортеж. Позади, проваливаясь в рыхлой земле, скачут брички. На бричках, оглядываясь, я вижу тюки, сваленные вещи. Такие же тюки, мешки, торбы привешены к седлам кавалеристов. Некоторые тащат добычу на плечах. Ведут нас к деревне. Вдали дымки и горбы хат.

– У меня казенные деньги забрали, – говорит военный в галифе. – Какой ужас! Меня все равно расстреляют.

Разговорившись, я узнаю, что он комиссар железнодорожного узла, боевой коммунист.

– Чепуха какая-то! – говорит он спокойно. – С Деникиным дрался, в Сибири в плену был, в польском походе был под самой Варшавой, агитировал, тыловые рейды делал – а в подполье сколько! – и все ничего, а тут – на тебе! Какой-то сволочи, трусам в лапы попал!

– А меня тоже расстреляют? – спрашиваю я трусливо.

– И фамилии не спросят.

В деревне, занятой бандитами, нас приводят к небольшому дому, построенному дачным манером, с деревянной верандой, колонками и красивым палисадником. Прежде тут жил богатый хозяин. За палисадником двор, на котором стоят два трехдюймовых орудия, свалены у сарая амуниция, седла, хомуты, ведра. Похоже на стоянку военного отряда. Сильный, приятный запах лошадей, навоза и кожи.

Нас задерживают у сарая.

– Вот здесь и разменяют, – говорит комиссар.

У меня почему-то надежда, что я останусь жив. От страха, что ли, или оттого, что голова моя заполнена множеством каких-то сталкивающихся, внезапных, растекающихся мыслей, воспоминаний, нелепостей и даже отдельных неожиданных слов, я не могу прислушаться к тому, что говорят вокруг бандиты и пленники. Сознание улавливает мелочи, поверхности, форму, но существенного представления о происходящем нет.

– Стройся в шеренгу! – кричат нам.

Мы, восемь человек, становимся в ряд. Справа от меня комиссар, играющий скулами от ненависти, слева высокий, очень бледный, бородатый человек учительского вида. Он совершенно подавлен, весь как-то завалился и стих.

Сарай раскрыт. В сарае полумрак. Приглядевшись, я вижу в глубине, на земляном полу, железные части, гайки, клещи. У порога куча угольного мусора. Должно быть, в сарае кузница.

– Сколько? – спрашивает кто-то.

– Восемь! – услужливо отвечаю я, хотя меня и не спрашивают, как будто эта услужливость должна спасти меня от гибели.

Потом откуда-то появляется главный начальник, атаман.

Это земляной человек, Вий, серый, угрюмый, с длинными сальными космами волос, в штатском пальто, подпоясанном ремнем. Он подходит к нам. С ним свита: молодец в кожаной и травянистых обмотках и еще один молодой, отличной наружности, в офицерской шинели, с белыми красивыми руками. По виду правовед.

– Который? – спрашивает, шамкая, атаман.

– Вот!

Правовед делает шаг вперед и, как околоточный, ударом кулака снизу подкидывает лицо комиссара.

– Ты Парфенов?

– Я Парфенов!

– Меня не знаешь? – медленно говорит атаман. – Мы тебя, сукина сына, знаем. Гриху застрелил в Кременчуге. Двенадцать наших в Малинниках сжег. Верно?

Комиссар молчит.

Атаман кивает правоведу:

– Дай по глазу!

Комиссара бьют по лицу.

– Наганом, – поправляет атаман.

Из группы бандитов выбегает, путаясь в шинели, маленький человечек, мальчик, втягивает слюну, взвизгивает и, завертевшись ярмарочным карликом, с размаху бьет Парфенова рукояткой револьвера по лицу. Я слышу, как все смеются, и в ужасе начинаю смеяться сам, даже не смеяться, а икать.

Атаман складывает руки за спиной.

– Я батька, атаман Ангел. Божий Ангел. Слышал, сволочь? Я вас всех переведу.

Мои глаза встречаются с его глазами. Он не задерживает взгляда, оглядывает других, потом поворачивается к правоведу и говорит:

– Бери их в кузню!

Мы входим в сарай. Теперь я уже вижу наковальню, еще какие-то невиданные железные предметы, опять хомуты и седла – и потухшую печь.

– Этих отпустишь к чертовой матери. Дерьмо! – говорит атаман, указывая на меня. – Парфенова сюда.

От внезапного ощущения минувшей опасности меня охватывает почему-то деловитое настроение. И самое непонятное для меня то, что мне хочется как будто выслужиться у этого атамана, быть старательным, сказать или сделать что-нибудь такое, за что он меня похвалит.

Это состояние и мерзостно, и приятно.

Парфенова, как ребенка, берут за руку и подводят к наковальне. Парфенов не упирается. Он спокойно оборачивается ко мне и говорит:

– Товарищ! Когда вас отпустят, доберитесь до ближайшего комнезама и скажите, чтоб сообщили в уездный комитет о том, что меня убили бандиты и забрали у меня казенные деньги и материалы комиссии по ремонту Користовской ветки.

Он улыбается, пожимает мне руку, а мне делается страшно, что атаман решит меня казнить заодно, как приятеля и сообщника. «Какая мерзость! – опять думаю я. – Какая сволочь!»

Потом комиссара опрокидывают спиной на наковальню и руки притягивают к земле с обеих сторон; с одной стороны – правовед, с другой – страшный, взвизгивающий мальчик в длинной шинели.

– Ну, ты! – говорит атаман, подходя к Парфенову.

Мне отчетливо видно запрокинутое лицо комиссара с небритыми рыжими щеками. В руках у атамана кузнечный молот. В одно мгновение – атаман отступает, описывает полукруг обеими руками – молот взлетает и падает с лету на лицо комиссара, лежащего на наковальне. Я слышу ужасный звук: точно кто-то мокро икнул, отрыгнулся. Потом, когда молот сдергивается с наковальни, я вижу, как правовед, отпрянув на корточках, вытирает белыми красивыми руками забрызганное лицо. Комиссар, вывернувшись, скатывается с наковальни, на которой остается розовая блевотина.

Атаман сплевывает и говорит:

– Вот тебе серп и молот.

Легенда

Ночью в дом пришли солдаты производить расправу. Я проснулся от выстрелов. Стреляли где-то наверху, в четвертом этаже.

Пока солдаты действовали двумя этажами выше, пока они сходили по лестнице, чтобы ворваться к нам, со мной произошло следующее.

Во-первых, я очутился в спальне родителей (ночью – впервые). Я увидел родительскую спальню ночью. На ночном столике горела лампочка под розовым колпаком. Я увидел родителей в одной постели. Отец предстал передо мной в бесстыдном виде. Кроме того, он действовал так, что и мать оказалась в таком же виде. Для того чтобы сойти с кровати, отцу, занимавшему место под стеной, нужно было или перевалиться, или перелезть через мать. Он полез, стаскивая одеяло. Мать осталась без покровов. Она продолжала лежать, не делая никаких попыток спрятаться, сознание ее было затемнено страхом.

(Я не почувствовал жалости. Я должен был поднять одеяло, укрыть ее, обнять, гладить по голове. Я должен был как-нибудь, какими-нибудь словами вселить бодрость в отца, вернуть ему самообладание. Я этого не сделал.)

Во-вторых, я подумал об отце так:

...Тебе никогда не приходила в голову мысль о том, что ты, возможно, глупее меня. Ты никогда не допустил бы самой возможности обсуждать равенство или неравенство между родителями и детьми. Ты думал, что ты – идеал мой. Ты думал, что я хочу быть таким, как ты, ты думал, что я хочу продолжать тебя, твои черты, усы, жесты, мысли, спальню, что я так же должен лежать с женщиной, как ты лежишь с матерью. Ты думал, что так должно быть. Я не хочу быть продолжением твоим! Слышишь?

В-третьих, я вдруг по-иному увидел всю ту обстановку, которая окружала меня столько лет, и это зрелище потрясло меня. Каждая вещь навязывала мне родство. Каждая вещь что-то предписывала мне. На стене висели круглые часы. «Я родилась под их бой, – не раз говорила мама, – и бабушка тоже». Часы были преданием, часы были легендой. Мне не нужно легенд. Я не хочу умирать под бой этих часов. Я не хочу быть продолжением. Я отчетливо осознал вдруг – семейный совет мебели окружает меня. Мебель советует мне, мебель учит меня жить. Буфет хочет сказать мне: «Я буду сопровождать тебя в жизненном пути твоём. Я стану за твоей спиной. Меня хватит надолго, я прочный, два поколения прятало в меня пищу. Меня хватит, обращай со мной бережно, и тогда хватит меня и на твоего сына, и на внука. Я сделаюсь легендой».

Я вдруг осознал зависимость свою от всех этих вещей. Круглый стол заставлял меня поворачивать там, где мне хотелось идти прямо, комод отодвигал меня влево, когда мне нужно было вправо, лакированные полочки на стене укорачивали взмахи моих рук. Не раз я хотел поднять восстание. Но между мебелью и мною посредничал отец. Он имел тайные инструкции от буфетов и граммофонов: как обмануть, как убогатить меня, как поступить, чтобы мысль о войне не возникла у меня, чтобы я вел себя тихо. Иногда какая-нибудь портьера, испуганная за всю державу, давала мне взятку в виде бархатного шарика, оторвавшегося от шнурка. Я мог швырять его во всех направлениях, разрушая традиции и легенды, я мог дать ему любое назначение, грубо нарушающее семейные представления о том, что такое портьера, как вышла она и как нужно беречь ее и какое место должна она занимать в человеческой жизни...

В-четвертых – я предал отца.

Отец выбежал из спальни. Он трясся, не мог говорить, от страха он перестал быть человеком. Он превратился в курицу. Он летал! Он взлетел вдруг на стол (в белье), присел, опять взлетел, очутился на буфете, потом на подоконнике (как курица, которую ловит повар).

И неожиданно после всего этого (не летания – он не летал, – просто у меня кружилась голова, и через головокружение я так воспринимал внешние проявления его страха) он попытался взять себя в руки.

И попытка ему удалась. Он разом переменялся, перестал летать, он твердо остановился, выпрямился и, положив руку мне на плечо, сказал:

– Коля, будь гордым. Мы умрем, как дворяне.

Словом, власть отца продолжается, совет мебели не разогнан, легенда существует. Отец семейства, продолжатель рода, носитель традиций, показывает последний фокус. Он умрет исторически. Он сделает из себя мученика.

– Подожди, – продолжал отец, – сейчас я выйду. Мы умрем вместе.

Он ушел в спальню и вернулся, волоча мать. Он поднимал ее, она оседала. Обоих покрывала форменная отцовская шинель.

– Застегнись на все пуговицы, – приказал он мне (я был в студенческой тужурке, внакидку). – Встретим смерть достойно.

В дверь стучали. Отец пошел открывать. Мать лежала на полу. Он шел, как мученик. Спину свою, приподнятые плечи он нес, как скрижаль. Он уже был легендой.

Тогда я опередил его. Я сам открыл дверь, крича:

– Стреляйте! Стреляйте! По спальне! По тайне! По буфету, по легенде, по всем пуговицам! Отрубите меня от него, от усов его, от мыслей. Освободите меня.

Крича это, я валился в полной покорности на чьи-то руки. Я затих, так как понял, что то, что я поднялся с постели и пережил такое волнение, будучи болен тифом, – может окончиться катастрофой.

1927

Я смотрю в прошлое

Когда Блерио перелетел через Ла-Манш, я был маленький гимназист.

Было лето, мы на дачу не выезжали, потому что не хватало средств.

Папа играл в карты, возвращался на рассвете, днем спал. Он был акцизным чиновником. Служба его состояла в том, чтобы ходить в казенные винные лавки и проверять, не нарушаются ли правила торговли. Исполнял он свои служебные обязанности плохо; как он держался на службе, не знаю; жалованье, словом, получал. Главное было – клуб, игра, он чаще проигрывал; известно было: папе не везет. В клубе он проводил почти круглые сутки.

Так вот, значит, Блерио перелетел через Ла-Манш. Было лето, был подан летний обед, помню – жарко было, потно, резали дыню.

О дынях было известно, что дядя Толя ест их с солью. Ни одна дыня не удостоивалась одобрения. Только нам, детям, нравились все дыни. Мама говорила: «прямо огурец»; папа: «надо брать у Ламзаки»; тетя: «осторожно, а то холера».

Семья у нас была мелкобуржуазная.

На подзеркальнике покоилась громадная рогатая раковина. Ее нужно было прикладывать к уху и слушать.

– Это шумит море, – говорили взрослые.

Раковина, в которой шумело море, была обстоятельством такого же рода, как дыня, которую дядя Толя съедал с солью. Во всех знакомых домах были раковины; бог весть какие моря их выбрасывали.

Папа хотел, чтобы я стал инженером. Он понимал инженерствование как службу в каком-то управлении, – воображалась фуражка, и говорилось: как господин Ковалевский.

В доме не было ни одной вещи своеобразного значения. Не было ничего такого, на основании чего можно было бы определить, что хозяин, скажем, идиот, или фантазер, или скряга. Ничего нельзя было определить.

Хозяин был картежник. Папа считался несчастным человеком. «Все сделали карты».

Клубное существование папы оставалось для нас неизвестным. Может быть, он покрывался испариной, когда проигрывал; может быть, рассказывал анекдоты, чтобы привести в хорошее расположение тех, у кого предполагал занять три рубля; может быть, разговаривая с ним, иные многозначительно переглядывались.

Домашнее существование его складывалось так: он, проснувшись, получал в постель чай и хлеб с маслом, потом опять засыпал, спал, положив на грудь кулаки; он выходил к обеду одетый, в манжетах с золотыми запонками, он был добр, мягок; волосы у него на висках были мокрые после причесывания.

– Блерио перелетел через Ла-Манш, – сказал я.

Мое сообщение было рассчитано на подготовленного слушателя. Тетя не знала, что такое Ла-Манш. Кто такой Блерио и почему он должен был перелететь через Ла-Манш – это не интересовало никого.

Главное: существовало у взрослых убеждение в том, что дети ничего серьезного, верней – ничего такого, чего нельзя было отвергнуть или опровергнуть, сказать не могут. Все, что говорили дети, относилось к области ерунды.

Мало того: подозревалось также, что в детских разговорах, мыслях, желаниях всегда заключено неприличное.

Родителей тревожило постоянное опасение: не происходит ли в моем сознании беспорядка, имеющего сексуальный смысл. Не держу ли я руки под одеялом.

«Он, наверно, держит руки под одеялом».

Они переглядывались; и я видел, именно эта тревога выражается в их взглядах.

Я не страдал дурной привычкой. Я не собирался держать руки под одеялом. Они мне навязывали это желание. Я был всегда под подозрением. Они смотрели на меня испытующе, читали во мне сексуальные мысли, которых не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.